

Андрей Левкин

**Смерть,
серебряная
тварь**

Андрей Левкин

***Смерть,
серебряная
тварь***

Книга прозы

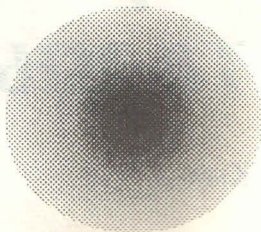


Спонсор книги —
SIA "Pirsett"

Разнообразные полиграфические работы,
изготовление
обычных и фломастерных печатей,
визитных карточек и бланков,
разработка фирменного стиля.

Рига, Дзирнаву 33 — 98,
тел. 334146

© by A.Levkin, 1993



Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка
С голубыми ты глазами, моя душечка.

Ап. Григорьев

Примерно в половине десятого — когда осенью — свет слизывает с подоконника свою тень, ложится на эту бело-желтую навощеную простыню, сползает по ней к краю и стекает, течет на пол и там, пролившись, застывает на масляно-крашенных досках: ничуть не хуже, чем стеарин, и Григорьев, отвернувшись к стене, понимает, что опять не успел уснуть вовремя и его рука — если он ее вытянет — окажется длиннее его руки, но, несомненно, то, что ему надобно, все равно ею не достать.

Но он все равно шевелит рукой и потому глядит вдоль нее, разглядывая: это рука и через положенную ей длину она кончается ногтями. Ногти Григорьева — не говоря об их краешках и заусенцах — похожи на голубей, луны, устрицы, лужи: ногти Григорьева — думает он — похожи на меня, как, должно быть, на меня похож я сам, то есть — мало. И, отвернувшись к стене, вздохнув, засыпает к полудню.

— Григорьев, — как говаривал Игнацио Лой-

ола, — лишь вид выемки, куда сыплется тот песок, что сыплется из ниоткуда. Но песок это просто песок и ему все равно.

Григорьев отвечает спросонья Лойоле:

— Знаешь ли Игнат, наше дело черно-бело-золотое, наше дело щека к щеке, лежит сухим, ждет приязни, наше дело, Игнаций, еще не сгинело, пойми ты, нелепый...

Опешив, но ничуть не поморщась, Лойола отвечает Аполлону:

— Друзе мой русский, велики ваши поля и степи, а приязнь наша — словно ковыль да осьмушка... чего? Самосада на курью, то бишь, прости, не знаю твоих диких наречий — на козлиную, то есть козью ножку. Брат Аполло, тебя не стесняют вериги твоей речи не то сарматской, не то отсохшей, словно кобыля вечность? То есть, хотел сказать, — словно шлея пророка?

— Нет, — отвечает Григорьев, — ты портишь звуки. Портишь ты буквы, Лойола, ты портишь вечность. К тому же, Игнаций, ты вертишь речи, словно варшавский цадик, а нам, русинам, то есть не добже.

— Право! — вскричал Лойола. — Кто больше значит? Кто меньше виден, али не так, брат мой русский?

— Так, — отвечал Григорьев, — да только внове слухачь мне пана сей разговор пенкный. Мы, россы, привыкли так, что если что — к бою. Мы также знаем, что если слеза, так к зиме дело.

Если река, то она — подо льдом и лужа ейная заледенела.

— Что же, — сказал Лойола, — то бардзо добже. Мы, иезуиты, очинно любим иттить вдоль реки на лыжах. Мы, айне гроссе руссо, любим, чтобы без звука и, как у вас говорят, шито-крыто.

— Нет, — отвечал Григорьев в глазах с тоскою. — Мы, россияне, на лыжах идти не хотим. Мы, россияне, — кричал ему в глаз Григорьев, — скользить не умеем и вплавь без следов не умеем.

— Ну, так и что же? — ответил Лойола, теряясь во мраке, — что из того, что, что из того... — и потерялся во мраке.

Где я? — подумал Григорьев. Он проснулся ночью. Ему показалось, что Сонм Звезд стал мал и оказалось возможным сжать его в горсти, и он сжимает, сжимает ладонь, только ничто внутри нее не жжет руку и Григорьев думает, что звезды малее даже комаров. Он засыпает снова, и рука, свесившись с постели, медленно разжимается, словно тянется к кому-то.

Ладонь расправляется и от запястья дрожит, обретая будто навыки речи: шевелясь, как язык, — когда б сквозняк, она бы заговорила, складно; Григорьев, точно опомнившись, сжимает кулак, сует под щеку.

Где? — вспоминает Григорьев, — где эти желтые ставни или, хотя бы, зеленые шторы? Там, помнится, была тяжелая аллея от крыльца чуть вниз, спадая вниз, к озеру, медленно... Вращаясь под

ногами, словно старенький кабинетный глобус, скрипящий и поющий — если его раскрутить — как соловьи, живущие в этой аллее, в мае. Потом, к осени, они уставали скрипеть, петь и вертеть головами, тормозили, обдирая горло ржавчиной, а аллея покрыта туманом по пояс, все ушли не простившись, а я в павших, то есть — лежу в прелых листьях, зарываюсь в их прожилки: дубовых, осиновых, кленовых; дышу напролет, бормочу на три счета и вдыхаю их гниль, а всякий камешек, забившийся мне под ногти, мне что брат, только меньше и всегда в них зеленые крапинки.

— Что же, Григорьев, — говорю я Григорьеву, — ты что же, Григорьев, думаешь, что любая тяжесть назначена тебе в удовольствие, словно перина? И лежишь под периной, словно больной, и рад, что говорить не надо, хотя ты и так-то не слишком в речах умеюч?

— Ммммы, — отвечает Григорьев, ртом, как лбом, уткнувшись в подушку. Мал есть мозг певчей птички, — думает он, молча, — а разум-то мой и того меньше...

— Но у меня же есть тело, плоть и язык! — орет Григорьев, словно в кошмаре, где он — ящерица и мерзок ее звук когтей по жестяному скату. — Когда в пустоте любая тварь похожа на железный камень или монету, я всучу ее кабатчику, пока тот еще не понял, что его лавочка уже полчаса как закрылась.

— Григорьев, — говорю я, — Григорьев! Так

ли в нашем климате встречаются невзгоды? И велика ли доблесть рифмовать гласную с гласной и «ой» с «ой»?! «Той» — «душой», эй, Григорьев, «собой» — «больной», и ты хочешь, чтоб и подушка тебя понимала?

— Ах! — отвечает Григорьев, — пан разумеет, что то не есть бардзо добже. Но, прошу пана, дайте вставить словечко: я же, Григорьев, давно б уже сгинул навеки, когда бы те рифмы, а я есть не сгинув, что есть очевишче, раз уж панове со мной размовляют.

— Да... — отвечаю. — И это проблема. Пан не есть сгинув, и это есть правда. Но почему же, Григорьев, как вы сам думать? Вы были когда-то, давно, и что же вы есть тут?

— Послушай, — ответил Григорьев, — а я это знаю? Пан тильки знает, что тихо кусает подушку. Да, я еще помню, что вишни сплошь белого цвета, и зеленые листья, а я тут, кусая подушку, скорее багровый. Ты же, со мной сообщаясь, скорее ошибка. Я же, кусая подушку, кусаю подушку. Ты же, меня потроша, вопрошая, мне кажешься странным.

— Что же, — ответил я, — я и сам ничего не знаю. Но вот ты, Григорьев, раз умер — веди-ка себя потише. А то буянишь, будто и не за стенкой: громко, понимаешь, и невпопад. И слова твои какие-то совершенно унылые. Глупые, опять же. Не кричи так.

— Хм, — рассуждает Григорьев, думая, верно, что он-то при чем и, кажется, прав.

Ветреницы, чешуйки непонятные, то ли пыльца, не то — шелуха орешков или стволов ольшаника, когда трешь щекой, или рябь, как когда звук начинает дрожать, — без причины, расходясь кругами, уходя, превращаясь из «а» в «э», впитываясь в низкие и плотные растения.

Первая колонна марширует, — думает Григорьев. Вторая колонна марширует, — начинает считать Григорьев. Третья колонна пошла следом второй. Четвертая колонна расправляет свои рамена. Пятая колонна опрокидывает чарку. Шестая колонна натягивает погоны. Седьмая колонна чистит зубы росой. Восьмая колонна сдирает с себя одеяла. Девятая трется о последних женщин. Десятая колонна еще не знает, что она колонна, одиннадцатая — кряхтит с боку на бок. Двенадцатая колонна пускает слюни. Тринадцатая колонна лепечет что-то, еще не поняв, что заснула, четырнадцатая колонна, смеясь, ложится, пятнадцатая колонна играет в карты, шестнадцатая колонна доедает кашу, семнадцатая колонна марширует на кухню, восемнадцатая колонна распевает «венгерку», девятнадцатая колонна стреляет в воздух, двадцатая колонна едва проснулась, двадцать шестая еще по складам читает, сороковая еще не зачата, сто двадцать восьмая витает в небе, двести двадцатая и знать о нас ни слова не знает.

— Эй, — говорю, — Григорьев, ты меня еще слышишь?

— Слышу-слышу, — бормочет Григорьев, хотя

и не слышит.

— Меня потеряли в овраге, — бормочет Григорьев, обняв подушку.

— Ох ты дурень... — вздыхаю.

— Ну, дурень, — ответит Григорьев. — Знаю. И что же?

II

О, Венеция, Венеция, где твои дети
В черных платьях, в черных пальто и шарфах?

А.Вертинский

Венеция — часть мозга, прилегающая, при- никающая, прилипшая к черепу — стелется поверх оболочек так, как если бы обмотала полушария бинтом. Она бережет остальной мозг, позволяет ему жечь себя сколько захочет — огонь, прошур- шав по ней два шага, шипит, тонет во влаге ее извилин и становится Венецией сам.

Там, в Венеции, свет отвесно не падает, он в падении изогнется, выгнется, подождет когти, ля- жет почти всклянь и осторожно прорежет ее воды, войдет в них, плеснет, уходя в глубину, хвостом, и воды засветятся зеленым спиртом.

Венеция, где петляющие, как ходы древоточ- цев, каналы сливаются в одно, называемое лагуной — медленно уходящей за пределы ее имени, а поверх намусорены кораблики, и между ними шмыгают катера жандармерии; о Венеция, где же твои лица, убранные в ящик письменного стола?

Их нет уже, Венеция. Умерли они или их нет в тебе. Лишь фотокарточки, одни только гладкие картинки скользят по твоей ряби тенями, кренятся,

надрезают лягушачью кожу воды и влагаются в зеленыющуюся, зеленистую темноту: да что ж ты, Венеция, делаешь с детьми своими?

Дочки твои хороши, а сынки твои, Венеция, поумирали уже почти все — что остается твоим дочкам? Глядеть сквозь стекла запотевших оконцев на матовую, жидкую твердь волн, на лагуну, по которой ковыляет дровяной транспорт, шаркая бортами о влагу, перелопачивая твоих водяных муравьев, скользких насекомых?

Голубая кровь твоих дочек прозрачна на ощупь и, прижимая ладони к глазам, они видят дома и причалы словно сквозь слезы: все покидают тебя, Венеция, по венецийским твоим водам, кончающимся там, где затухает твое, Венеция, имя — что рассуждать нам о том, не лучше ли им самим, что нет их уже здесь, в тебе: но те, кто остался, — Венеция, зачем ты торопишь нас уйти?

И что делать твоим дочкам? Шуршать, разве, платьями и раздвигать колени оттого, что больше и радости нету? И куда им с вещами на причал, не донести — вот и остается шелестеть чреслами, слизывать помаду с собственных губ, будто произнесено только что сырое и важное слово.

Дети твои, Венеция, умирают, ступив с берега, они уплывают глядя на ночь, либо под утро: с тех пор их не станет; мы свертываем пожитки и унесем с собой все, что не помешает нам вовремя ждать на причале: утреннем, пахнущем растрепанным каблуками деревом — не обернувшись туда, где

голубая кровь оконных стекол еще хочет нас видеть.

Где ж видеть? В комнатах, отрезанных от света твоими мелкими оконцами? Да их переплеты изглажены уже во всех хворобах взглядом — до трещинок распавшейся на чешуйки краски. Из окон твоих видна только улица, по которой надо пройти, чтобы тебя, Венеция, покинуть, и не удержишь ты нас ничьим уже вздохом.

У нас бывает стоячая вода. У нас есть стоячая вода. У нас будет вода, лежащая плашмя. У нас, у тебя, у меня есть и будет вода, встающая стеной навстречу при падении в нее тебя, меня, нас.

Прощаясь со всем, будто со всеми, утирая лицо шелковым шарфиком, вспомнишь, что Венеция — это лишь часть анатомии, немногим больше, чем парной туман над бледной мутью мозга. И все же, шаря в этой дряни, думаешь, что ее имя лучше всего тонкого серебра по черному стеклу: и белое лицо отразится в черном, покрытом изнутри лаком стекле и ляжет на серебро букв или серебро напишет ее имя на твоём лбу.

Венеция, твои цветные стекла заставят их живыми тенями нас загрузить, перешагивая через них, лежащих на полу; заставят с улыбкой взяться за тяжесть всех твоих дверных латуней и меди, сощуриться от золота твоего солнца, входящего в нас лезвием ножичка, проходя насквозь, сужаясь в стерильную иглу — уходящую прочь, словно нас тут и не было: и ты первая, Венеция, не заметишь, что нас уже не стало.

Что же, мы расстаемся, и прощай: оставайся ты там, где лежишь в своих водах, отпускаяй в воздух свои пестрые штучки, замотай горло пухом и ступай, иди и не поскользнься на своем в рыбьей слизи пороге: отплывай, мы тебя не гнали, а это ты уходишь от нас — вот и плыви вплавь по своим жилам, а мы остаемся тут, это тебя не станет.

Ты похожа, ты была похожа на сверчка за ухом, на светлячка во рту, на шиповник, на дырочку зрачка, на каплю крови на виске — лети, Венеция, к себе на небо, пощелкивай драным крылышком, черпай бортами воду, зарывайся своей золоченой фортуной в мелкий свет своих брызг: уплывай. А мы помашем вслед черным платком, обернем тебя напоследок в шелк: словно живущую в году лишь две недели елочную игрушку — хрупкую, стеклянную, зеленоватую, жемчужную на изломе, с острием, утопленным в белой глазури, с петелькой на другом конце, чтобы повесить куда-то.

III

Внутри стеклянного шара построены домики: из картона, раскрашенные акварелью, всего их пять—шесть, там есть еще кирха, две—три елки или фонарь. Полость шара заполнена липкой, ленивой водой и сухими — такими сухими, что видно даже сквозь стекло — катышками ваты, что ли. Если шар взболтать, побить его, держа в руке, о колено, то шарики всплывут во все стороны и после, если шар установить так, чтобы кирха указывала вверх, они медленно падают вниз: это снег, а шар называется Рождеством.

Это немецкий шар, и маленькие сухие комочки медленно тонут в жирной воде его чрева, ложатся внизу белым слоем, и ни один из них не ляжет, не удержится на скате шпилья. Тогда, чтобы жизнь снова двигалась, шар надо снова встряхнуть, и там, внутри голубого с зеленоватым отливом стекла, снова пойдет снег, и снова снежинки лягут все внизу и не зацепятся ни за кирху, ни за петуха на щипце. И этот мир опять надо взболтать, чтобы еще раз увидеть, как со всех сторон падает снег, но даже после шестисотой попытки из домиков никто не выбежит и никто, задрвав подбородок, не закричит, что падает снег, и ничья тень не покажется в желтых окнах дома, что возле кирхи.

Такие шары делают где-нибудь в Гамбурге. Они приклеивают картон к изнанке стекла прозрачным клеем, сдвигают две половинки, две полусферы, тщательно — чтобы шов не поцарапал потом ничьих рук: это непросто, и оттого часть шаров выскальзывает, они падают на пол, крошатся на острые стеклышки, и тогда картонные кирхи, ели и дома поднимают с пола и вставляют в следующее стекло, сыплют туда скрученную вату, сдвигают полшария, сплавляют их встык, льют сквозь дырочку в темени глицерин, запаивают, встряхивают и, вот, внутри шара пошел первый снег.

Работница или служащая, занятая этим, смотрит — держа стекло в пальцах — на улицу, а там, конечно же, тоже падает снег и это — то, что за окном, — тоже называется Рождеством.

Работница склеивает шары, ей хочется потянуться, пошевелить пальчиками ног в постели; на выпуклых стеклах остаются отпечатки ее ладоней, каждый час она идет покурить в коридор и вздыхает, думая о том, что возиться с открытками с «майн либер Аугустин» внутри — куда проще, а первые три такта музыки, запечатываемой ею в согнутый пополам картон, уже у нее в голове, как маленький хрящик.

Она курит на лестнице, сквозняк заползает ей под платье, чуть вздымает подол, и ей мнится, что она на подиуме, как модель, видящая перед собой лишь узкую белую дорожку, парящую в темной высоте — метрах в пятидесяти от пола, ей—

богу! И, опешив, она спотыкается, дергается и просыпается, хрустальный шарик выскользывает и разбегается мелкими прозрачными человечками, рассыпается нафталиновым снегом, петух, слетевший с кирхи, клюет чужие светящиеся зернышки, и тут, добрым папой, к ней подходит синещекий усатый мастер и укоризненно молчит ей в затылок: «Ах, фройляйн Эльза, до Рождества ж еще целых два дня...»

IV

Когда луну накроют облака, все тени отойдут от стен и расползутся врассыпную, торопясь своими медленными изгибами, по-пластунски став листиками бумаги, повторяющей складки почвы, и расползутся, разлетятся по канавам на обочинах. Три-четыре шелеста, и — нет их.

Облака рассеиваются, луна снова освещает все, что хочет осветить, так что у того, что отбрасывало тень, появляется свежая тень: вырастающая с каждым вздохом, расправляющая плечи, шевелящая сгустившимися пальцами, словно ростками черных деревьев.

А те, прежние, отнесенные темнотой на обочины, выбираются оттуда и тишком, еще старательно пытаюсь предугадывать все изгибы идущей им навстречу дороги, утекают прочь — лишь бы подальше от места, где они были тенями и где их дергали за ниточки, привязанные к окончаниям тьмы их тел. Теперь они опасны: толщиной в лист бумаги, они сбреют все, что встанет им поперек.

И только позже, когда они взопреют, обмякнут от влаги, когда шелест их на каждом шагу нипочем будет уже не отличить от шелеста обыкновенных листьев — тогда они, наконец, остановятся, переведут дух и, глядя вокруг и болтая с соседями, их

не увидят всех — хотя чувствуя и слыша рядом: стоит нам лишь стать боком, как нас не видно — понимают они — потому что мы толщиной в лист бумаги, в волос. И, значит, если нас и заметят, то лишь как царапину на хрусталике. То есть, выходит, — улыбаются они друг другу, — теперь мы вроде хозяев мира.

И, значит, они могут войти к кому хотят, и они идут к кому хотят, присаживаются на его кровать и, когда наклоняются к спящему, кожа его ощутит легкую ласку, маленький ветер, и все они собрались тут, что ли, на консилиум и, шелестя на сквозняке, словно взаправдашние летние листья, решают о спящем что-то важное.

Тот, если разбуженный ими откроет глаза, а — темно, и в темноте глазам всегда поначалу кажется, что перед взглядом лежит вода, заметаемая все время снегом — так уж устроен глаз — заметаемая все время становящимся водой снегом, серо-светящимся, ложась на нее, а навстречу — в ярком электрическом пузыре, в рыбьем шаре, в склянке, рубашонка нараспашку, плывет фея с фиалковыми глазами и губки ее то ли алые, то ли сочатся малиной или обветренные, как земляника, и, конечно же, она — королевская дочка в плаще из незабудок, стрекозьей слюды или черных кружев, а глаза ее — тусклого серебра, тусклого, чернеющего к краям, вот только зрачков нет.

А гости: черточки, иглы — войдут как домой в его мозг, развернут там свои плавники и, посте-

пенно пошевеливая ими, летят сквозь него в какую-то его центральную, похожую на черную бусину, глубину и растворяются ею: не шепнув перед этим ни звука и оставаясь друг для друга тем, чем были всегда: тяжелыми мрачными раками, мерцающими солью, выступившей на их кожах.

V

Утро. Над зеленью травы туман. Роса, все отсырело. Во вчерашних следах конских копыт выступила вода, схваченная легким слоистым льдом.

Полководец, утопая на четверть ботфорта в майской, хрустящей, но все равно топкой земле, выходит из палатки. Ему было жарко ночью, а к утру полотняные стены набухли влагой, стали волглыми, отвисли и заставили его мучаться от духоты. Полководец не выспался, он мочится, стоя подле осинки, и двигает губами так, словно пытается согнать с них муравьев.

Войско лежит чуть ниже холма, поросшего деревцами. Далее — поле, за ним — другой холм с похожей рощицей. Между двумя холмами лежит поле, заполненное колченогой зеленью, вполне готовой быть убитой сапогами и копытами — место битвы, словом, предопределено свыше — а иначе и не бывает, потому что земля велика, и никто не может выбрать места для схватки лишь на свое усмотрение: тогда армии не встретятся никогда.

И нет полководца без того, чтобы по едва уловимому запаху сырости и гнили не определить истинность выбора почвы: места биваков и маршей пахнут иначе, места летних лагерей пружинят песком, скрытым под травой или хвоей, а на маршах

земля клонит вперед и пеших, и конных: там двум армиям никогда не сойтись, потому что, даже столкнувшись там, они продолжат путь бок о бок.

Полководец первой армии держится за осинку и, тряся телом, дабы низкая влага не попала внутрь одежды, глядит по сторонам: уж рассвело, но война не всегда обязана начинаться на рассвете.

Полководец другой армии глядит со своего холма вперед, чуть щурясь от солнца, медленно выползающего из-за роши на чужом краю поля. Он чувствует там врага, но, по-правде, тот не занимает его мыслей.

В подмерзшем следе копыта лежит солнце, будто в нем запеклась кровь, — так это видит тот из полководцев, чья армия стоит с запада. Солнце поднимается выше, отсвет в копытце становится золотым, потом исчезает; полководец возвращается в палатку и, вытирая руки шелковым полотенцем, говорит адъютанту: «Ну что же, пора...»

Адъютант на белых журавлиных ножках бросается вперед — едва успевая пригнуть голову перед пологом палатки — и, сбегая вниз по холму, кричит лежащим внизу: «К бою, к бою, вставать, умываться к бою!»

Полководец другой армии еще не вернулся в палатку, но понимает, что врага его и брата нет уже на другом краю горизонта; он чувствует, что поле между холмами гнется книзу и трава блестит росой, как звездами, словно наверху разбили окно и теперь на поле вламывается ветер, пахнущий

лебедой, личинками тополей, ползущими по траве маленькими червячками.

Так бывает всегда, когда бог выбирает место битвы, и, когда подступает ее время, края поля заворачиваются кверху, и из этого места нет уже выхода, и неважно, кто сделает первый шаг в этом загоне.

Человек, восседающий на коне, после пятого шага теряет смысл собственного тела и ума: человек, восседающий на скакуне навстречу своему брату и врагу, становится сырой пылью, облегающей круп коня, и обладающей саблей: и два встречных ветра определяют — кто из них сумеет пройти сквозь другого.

Шеренги всадников проезжают друг сквозь друга, словно две расчески, зацепляются краями, а далее их не пускает сама битва, ставшая стаканом, чьи края, а вовсе не друг друга, они и секут вскачь и наотмашь.

Полководцы, выйдя на вершины холмов, видят, что дело затеялось; послы двух враждующих в низине стран еще не проснулись, хотя вчера уже предполагали, что произойдет на рассвете, и, отправив жен и детей на курорты в Швейцарию, до первых петухов жгли в каминах тайны.

На лугу и невысоких пригорках, словно прощаясь с белым светом, гнется, раскачивается под ветерком сон-трава: мохнатые цветки, похожие на лилово-розовых шмелей, так и не успевших оторваться в воздух.

Солдаты, кланяясь встречным пулям, проползли до середины поля, до середины между двумя холмами, с которых глядят друг в друга в бинокли полководцы, впервые видящие цвет глаз друг друга.

Полководец — любой из них — видит, глядя от своих осин, не орущих, скачущих, режущих, колющих; лбами, будто бодаясь, пропирающих преграду между странами и войсками: они видят ход своих мыслей там, внизу, — мыслей, произведенных долгом и бессонницами; видят там свои сны, скачущие конями по топкому лугу: их сны несутся друг на друга, выбивая из земли комья грязи.

Всадники, облака, мчащиеся друг на друга, за три метра до столкновения выдвигают из себя кулаки, зажавшие сталь: два ветра несутся резать друг друга, и один из них одолеет другой, вспоров его и принудив рассыпаться пригоршнями пыли, запачкать мертвой молью землю.

Полководцы, спаянные друг с другом оптикой, читают мысли в черепах друг друга: им нечем более заняться, потому что двигающаяся внизу, пахнущая свежерастоптанными желто-белыми корешками травы битва живет сама по себе, она не спрашивает их советов и еще не треснула по швам.

Тяжелое солнце все выше и, ослепляя ружья, мешая пулям, и те, зарываясь в землю, бьют дождевых червей и разъедают свинцом почву; сабли режут воздух — края его срastaются тут же, но остается шов, о который следующий всадник натрет, раздерет себе щеку; убитые же, разъятые аккурат-

ной точкой, рушатся в траву, как если бы их завернули в одеяло, заспав в младенчестве: тонут вниз, уходят в глубину — ниже корней самой цепкой травы луга.

Полководцы с холмов видят лишь покидающих их: они видят хвосты их коней, пыль, сходящуюся к горизонту: их покидают, право же, все их покинули, все, и теперь они начинают ждать тех, кто доберется до них.

Советник любого из полководцев стар и вооружен слуховой трубой, приставив которую к земле, они, по гулу копыт, определяют приближение смерти, но полководец и сам уже видит, что три чужих всадника, разорвав тенета битвы, несутся на них, полководцев и советников, застывших перед штабными палатками.

И — проносятся мимо: один слева, другой справа, третий же — подняв коня в воздух, и, промелькнув по холму, трое уходят вниз, в сторону жестких кустарников, ореховых зарослей — где или орехи бьют их по вискам, или уставшие, медленные на излете пули, и они мрут там, запутавшись в ветвях конями.

Несомненно, сам бог привел всех их сюда, на это место, где теперь все окончено: силы, клубившиеся прозрачными угрями, змеями в небе, не видны более полководцам: поле, трава и солнце уснули.

И, они, маршалы, не изменили ни себе, ни своим странам, ни друг другу: ненависть пронзила

каждого в тридцати шести узлах стальными булавками с флажками, еще вчера отмечавшими диспозиции полков и батальонов на картах: все иголки сломались, и лишь кончики их застряли в теле. Полководцы расправили плечи, огляделись, вздохнули и улыбнулись ржавеющими губами: на свете не изменилось ничего, следственно — Бог существует.

VI

Из каждого тела человека можно тянуть шестнадцать шелковинок разного цвета, будто изо рта сухой рыбы торчат шестнадцать разных цветков.

Аккуратно подоженные, они произведут на свет шестнадцать разных огней, вырывающихся из ее пасти, и тогда дождь, ежели тому случится быть за окнами, будет состоять сразу из шестнадцати дождей, идущих друг внутри друга.

Когда будет дождь, сырость тяжелеет, давит, и в домах начинает пахнуть гарью: лепестки сажи отрываются от стенок дымоходов, сыплются вниз, шуршат и шелестят по кирпичам, и живущим в доме кажется, что там живет еще кто-то.

Они подходят к дверям, но из-за дверей им никто не отвечает, они идут к окнам, но и окна не говорят с ними, и под окнами никого нет. Они уходят на кухню, пьют сырую, жидкую воду из-под крана, возвращаются в постели и, тычась влажными еще губами в подушку, засыпают. А простыни под ними уже сбились, скрутились в скользкие жи-лы и только мешают.

В марте небо сыплется своими капельками вниз; пешеходы, умирающие от своих болезней, не обращают на них особенного внимания: идут поп пождиком, подрагивая на каждом шагу.

Изо рта любой летающей рыбы лезут наружу шестнадцать стеблей разноцветных бессмертников, из тела любого прохожего под дождем торщится ровно одна смерть, которую он словно бы несет в руке, идя на свидание с нею же.

В марте небо прогибается, провисает книзу целлофановым пакетом, в который натекает вода: свисает, оттягивается тяжестью все ниже, растягивает водой свою пленку.

Плоский ключ поперек бороздок имеет семь — восемь надрезов, выпиллов — открывающих замок: заставляющих ходить у того внутри какие-то суставчики правильно: вперед, налево, направо-направо, чуть назад, и все, сойдясь, будет в порядке, если, конечно, и раньше все было в порядке.

Семечки одуванчиков, летящие куда-то невесть в сторону, они сухие, коричневатые, а вся их предыдущая, нежная желто-белая жизнь и история ветру неинтересны, да, впрочем, и сами они.

Небо, отвисающее книзу, пахнет целлофаном, полиэтиленом и чем-то, хранившимся в этом мешке, пакете раньше. Набухает, растет все ниже и пахнет все круглее и осязаемей — рыбьей чешуей, сгоревшими спичками, башмаком, оказавшимся на трамвайной остановке после того, как стаял снег; медными бусинками дверных электрических звонков, отсыревшими шерстяными вещами, бледной кухмистерской кашей, черными, свистящими при ходьбе чулками; воробьиными перьями, фольгой молочных крышечек, корой деревьев и

скверным табаком, теплом перин и перьями подушек, старыми деньгами, стертыми лицами.

А потом, когда этот пузырь еще может своими брюхатыми стенками удерживать распирающие его воды, там, в нем — если взглянуть вверх — промелькнет тень: быстрая и плавная гладь, там проплывает, делая над нами поворот, громадная темная и литая рыба: с шестнадцатью разноцветными плавниками, раскосыми, чуть желтоватыми зелеными глазами и надрезанным, надорванным ртом, словно ей случилось когда-то зацепиться за какой-то крючок, торчащий из проплывающего под ней мира.

Эта рыба — хозяйка всех тех, кто хоть немного, хоть отчасти, хоть чуть-чуть похож на кукол, и, перебирая плавниками, она ведет их по улицам, переставляет с места на место, кладет друг подле друга, заводит им будильник на время, когда надо вставать, утирает носы и кормит кашей, и гладит по головам, и лечит от простуды, и разводит им руки, если надо, и поворачивает им головы кверху — когда, наконец, эта прозрачная и мутная дрянь не выдерживает удара ее хвоста: вниз рушится ливень, и после потопа все начинается заново, потому что кончилась зима, и на синем стекле лежит солнце.

VII

Псалмопевец сказал: «Кто тебя боится,
тот увидит меня.»

«Молот ведьм»

Жидкий зеленый свет, истекающий из неба, похож на бутылочное стекло, свет плавает в нем: становясь клейким, кленовым соком. Рана, зараженная духом убийцы, притягивает к себе зараженный воздух. Если убийца проходит мимо, то кровь вытекает, так как в присутствии убийцы воздух крови начинает дрожать и производит кровотоечение.

Ведьмы видят мир, лишь когда тот прикасается к их телу: отчего тела их разукрашены чувствами, проведенными по телу телом: ведьма становится быть ею, лишь когда различает жирные движения разноцветных палочек на своем теле и уже не узнает себя без их следов.

Утром она раскроет ладони и глядит в них как в письмо, полученное утром, вскрытое и уже прочитанное: синяя линия жизни уходит по ладони и предплечью за спину: ей ее не разглядеть, и она глядит на след желтого карандаша — сломавшегося на полдороге от линии судьбы куда-то вниз, к животу, видимо, и след дотянулся только до впадинки между ключиц.

Она лежит на простынях, уже одну ночь как несвежих, и, глядя на свет сквозь ладони, пытается вспомнить, когда вокруг запястья завилась эта рыжая полоска, шерстяной шнурочек.

К утру, к первому свету она обмякла, стала тяжелей телом, тело стало теплее, и ему надо спать; рана, разделяющая ее пополам, спекается горячей коркой.

Она дышит обмякшей кожей, словно внутри сладкого мака; в окно светит что-то едва желтое, кости внутри плоти кажутся лишними, и глаза ее зарастают голубоватой зеленью.

Слова или даже любые звуки ползут от пяток к животу и дальше, стараясь заползти в рот жженными, едва заметными муравьями; солнце вваливается, входит в утреннюю сметану, будто опять размыкая ее колени — и так не сведенные, и ей остается лишь улыбнуться этой ненужной уловке.

Солнце щекочет реснички и, пробиваясь сквозь них, кажется дюжинкой павлинов, прибитых к стенной известке; телу хочется себя под воду; ладошки теплые, раскрывшиеся, и выпустили власть, которая была вчера, а звери, вышедшие из ее тела ночью, сидят по углам и глядят, чуточку плача, собачьими глазами, и тело прячется от них в сон.

Который похож на длинную серую воду, в которой нельзя утонуть, и лишь только цепляясь за донный песок волосами, понятно, что эта вода течет; в волосы забивается песок и блестит солью, когда голова выглянет из-под воды.

Зеленые линии карандаша по телу оказываются льнущими к порам сырыми водорослями, следы красного карандаша остались лишь в уголках губ, голубые линии стекают с висков к подошвам.

Глядя с утра на свет как на маленькую связку цветных карандашей, хочется найти среди них простой — черно-белый, серый, железный, ночной: по ночам ангел входит к ведьме и отталкивает ее к стене, она бьется затылком и, прильнув к стене хребтом, глядит в желтую темноту и, никого не видя, чувствует руки, все ползущие по ней куда-то, легко вздыхает и утыкается лицом в подушку, а позвоночник ее светится в темноте белым пунктиром.

Утром ее тело стало мягче, проще, чем она могла представить себе накануне: цветные карандаши на подоконнике в стакане — серые против света, телу недостает мышц, и она может лишь потянуться и пролепетать два-три сонных слова.

А шестнадцать тысяч слов, проведенных у нее внутри, хотят стать явными и распутываются наружу арабской вязью, мягкой дрожью, и она поглаживает эту историю по шкурке, заставляя ее вспоминать себя.

Власть на время ушла, как сок из мышц, и пусть. В зеленом, желтом — под лучиком — стекле лежит воздух, позвоночник темно подрагивает, словно шаги, связывающие ее ум с ничем: пустота чревата холодом, и она вздрагивает, и глядит по сторонам: на подоконнике, как растения, в стакане карандаши: красный, желтый и пунцовый.

Встав босыми ногами на чужой пол, подойдя к ним, взяв их в руки и поднеся ко рту, красный выскользнет из пальцев, желтый будет сломан, а пунцовый спросонья уткнется острием в сердце.

Литерātu korporācija "Teksts".

Izdevejdarbības licence Nr. 2-0862. Metiens 1500 eks.
Ofsetspiedums. Ligumcena. Iespiesta SIA "Pirsett" tipogrāfijā.
Rīga, 1993.



Андрей Левкин —
русский прозаик,
живет в Риге.

Автор книг:
Старинная арифметика (1986),
Тихие происшествия (1992),
Темная вода (1993).

Текст

Корпорация литераторов "Текст"